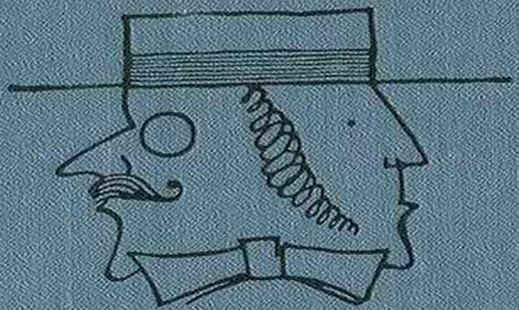
БРЕТ ГАРТ



Влюблённый Энрикес
Брет Гарт

Аннотация
Брет Гарт
ВЛЮБЛЕННЫЙ ЭНРИКЕС

Аннотация

Энрикес всегда относился пренебрежительно к женскому полу. Это всем было известно. Но женский пол это совсем не устраивало. Всё переменилось, когда он встретил красавицу из Бостона и был покорён. Осталось только добиться её благосклонности, а для этого у него есть все основания, пускай кому-то это и не кажется таким очевидным.

Брет Гарт

ВЛЮБЛЕННЫЙ ЭНРИКЕС

В одной из предыдущих хроник, посвященной подвигам калифорнийской кобылки Чу-Чу, я отвел немало места описанию достоинств Энрикеса Сальтильо, который помогал мне объезжать Чу-Чу и, кроме того, приходился братом Консуэло Сальтильо, молодой особе, коей я без размышления подарил и самую Чу-Чу и свое юношеское поклонение. Признаком высоких достоинств мужского товарищества представляется мне то обстоятельство, что ни одно из последующих событий — будь то предательство лошадки или измена девицы — ни в малейшей мере не поколебало нашей с Энрикесом возвышенной дружбы. Недоумение по поводу того, что привлекательного ухитрился я найти в его сестрице, он сочетал со снисходительно-скептическим отношением к женскому полу вообще, каковое имел привычку выражать с испанской обстоятельностью, щедро приправленной калифорнийским жаргоном (неподражаемая смесь, снискавшая ему заслуженную известность).

— Что до этих женщин с их маленькими фоку-

сами, — говаривал он, бывало, — поверь старому дядюшке Энри, мой друг: это не по его части. Ни-ни. Когда рядом любовь, он умывает руки. По какой причине? А вот послушай. Если перед тобой лошадь, ты смело говоришь: «Сейчас она встанет на дыбы», «Она шарахнется в сторону», «Она не дойдет до финиша» или «Она придет быстрее всех». Ну, а если перед тобой эти самые женщины, тогда что? Когда ты говоришь: «Она шарахнется в сторону», — она, заметь, непременно пойдет прямо; ты думаешь, что она встанет на дыбы, а она совершенно спокойна; и уж если, допустим, она дойдет до финиша, ты все равно проиграл. Тебя сбросят по дороге. И так всегда. Мой отец и брат моего отца — они оба ухаживали за моей матерью, когда она была еще только сеньоритой. Отец думает, что она больше любит брата. Тогда он говорит ей: «Довольно! Успокойтесь. Я ухожу. Я ретируюсь. Адиос! Прощайте! Пока! До скорого! Увидимся осенью». И что же делает моя мать? Слушай. Она выходит замуж за моего отца — тотчас же! Этих женщин, поверь мне, Панчо, никогда не раскусишь. Даже если, по их милости, станешь сыном своего отца или его племянником.

Я привел эту характерную тираду, чтобы уже в

начале своей маленькой повести показать общее направление ума Энрикеса. Будет, однако, лишь справедливо отметить, что в повседневном общении с представительницами пола, который он бранил с такой легкой душой, он не выказывал особой сдержанности или осмотрительности. В разношерстном кругу своих беспечных, легкомысленных соплеменниц он пользовался большой свободой и популярностью. Он превосходно танцевал; когда бы мы с ним ни пришли на танцы, ему, быстрому, дерзкому танцору, неизменно доставались самые хорошенькие партнерши, а его всем известные женоненавистнические взгляды ограждали его от ревности, зависти и обид. Живо запомнился он мне, поглощенный таинством «sembicuacua», совершенно неистового танца, предоставляющего полную свободу изобретательности исполнителей и почти ничего — воображению зрителей. В одной из фигур языком любви служит более или менее грациозное помахивание ярким цветным платочком перед затуманенными глазами партнера или партнерши, выражающее на протяжении танца восхищение или безразличие, нерешительность или настойчивость, страх или блаженство, смущение или кокетство.

Нечего и говорить, что в исполнении Энрикеса эта пантомима приобретала и вовсе необузданный характер, хотя все проделывалось и воспринималось с самым серьезным видом, составляющим одну из непременных особенностей этого танца. Из груди его вырывались вздохи, которым надлежало изображать последовательные стадии зарождающейся страсти; он ревниво всхрапывал при виде предполагаемого соперника, затем на него нападало нечто вроде пляски святого Вита, означавшее робость при первых изъявлениях нежного чувства; презрение дамы сердца нагоняло на него немой и лихорадочный озноб, а один ее благосклонный жест доводил его до полнейшего исступления. Все это было вполне в стиле Энрикеса, однако в тот раз, о котором здесь идет речь, я полагаю, едва ли кто-нибудь ожидал, что ему вздумается начать очередную фигуру сразу с четырьмя платками! А между тем именно это он и сделал, кружась на носках, подпрыгивая и взмахивая своими шелковыми сигнальными флажками, как балерина — шарфом, в томлении или пылу любовной страсти, и так до заключительной фигуры, в которой побежденная прелестница обычно покорно склоняется в объятия своего кавалера и в которой выдумщик

Энрикес, естественно, очутился на середине зала, поддерживая сразу четырех дам. Однако ни рукоплескания собравшихся, ни очевидный успех у прекрасного пола нимало не поколебали его душевного равновесия.

— Ах, поверь, это решительно ничего не значит, — невозмутимо говорил он, прислонясь к дверному косяку и сворачивая сигару. — Быть может, мне нужно будет предложить этим барышням шоколаду или вина или в крайнем случае прогуляться с ними по веранде при луне. Всегда одно и то же. Если только, мой друг, — добавил он, внезапно оборачиваясь ко мне в порыве рыцарского самоотречения, — если только ты не пожелаешь сам занять мое место. Сделай милость — я отдаю их тебе! Я исчезаю! Испаряюсь! Я даю тягу! Я сматываю удочки!

Я думаю, он выполнил бы свое сумасбродное намерение, призвав к себе четырех цыганочек, с которыми танцевал, и вверив их моему попечению, если бы в эту минуту толпа не отступила перед другими парами и впереди осталась стоять лишь одна зрительница: высокая, стройная девушка в золотых очках, которая невозмутимо и сосредоточенно рассматривала танцующих критическим взглядом. Я оцепенел от изумле-

ния, узнав в очаровательной незнакомке мисс Юрению Мэннерсли, племянницу местного конгрегационалистского священника.

Не было такого человека в Энсинале, который не знал бы Ренни Мэннерсли. Для дочерей обосновавшихся здесь переселенцев с Юго-Запада и Востока она служила одновременно объектом зависти и недосягаемым образцом совершенства. Она была выдержанна и строга, она была безупречна и наблюдательна, благопристойна и вместе с тем независима; она получила прекрасное образование: поговаривали, что она знает греческий и латынь, она даже писала без ошибок! Самый скромный полевой букетик чахнул и увядал от той учености, с которой она перечисляла латинские названия каждого цветка! Она никогда не позволяла себе сказать «Ей-богу?» вместо «Не правда ли?», и решительно отвергала форму «Чего-чего?» как совершенно неприемлемый вариант вопроса «Что вы сказали?». Она цитировала Браунинга и Теннисона; поговаривали, что она даже читала их. Родом она была из Бостона. Что же она могла делать на этой развеселой танцульке?

Не будь все эти подробности известны каждому из присутствующих, одного ее внешнего

вида было довольно, чтобы привлечь всеобщее внимание. На фоне пышных юбок — красных, черных, желтых — ее строгое облегающее серое платье и шляпка того же мягкого тона были достаточно приметны, даже если бы в них, как и в самой девушке, не ощущался бы сдержанный протест против развевающихся перед нею кричащих оборок. Рядом с ее осиной талией и прямой спиной особенно бросались в глаза не стянутые корсетом пышные формы молодых мексиканок, а по сравнению с ее узкими изящно обутыми ножками, выглядывающими из-под туго накрахмаленного белоснежного края нижней юбки, как нельзя более нелепыми казались их широкие туфли без задников, держащиеся на одном большом пальце. Внезапно — впрочем, без всяких признаков страха или смущения — она, видимо, заметила, что стоит совсем одна. Чуть отступив назад, она небрежно оглянулась через плечо, как бы отыскивая глазами спутника, затерявшегося в толпе, и глаза её встретились с моими. Она непринужденно улыбнулась при виде знакомого лица, и секунду спустя взгляд ее с куда большим интересом задержался на Энрикесе, по-прежнему стоявшем подле меня. Я оставил его и тотчас поспешил к ней, тем более что кое-кто из присут-

ствующих, как я заметил, уже начинал довольно бесцеремонно разглядывать ее.

— Поразительно, не правда ли? — спокойно молвила она и, прочитав замешательство на моем лице, продолжала не в виде объяснения, а скорей просто для того, чтобы поддержать разговор: — Я только что рассталась с дядей — он зашел навестить одного из прихожан здесь по соседству — и отправилась домой с Иокастой (Иокаста была служанка ее дядюшки), как вдруг услышала музыку и заглянула сюда. Не знаю, куда она делась, — добавила мисс Мэннерсли, вновь окидывая взглядом залу, — она совсем потеряла голову, увидев, как скачет вон тот субъект со своими платками. Вы с ним говорили только что. Скажите, бога ради, он что, в самом деле такой?

— В этом, по-моему, трудно усомниться, — ответил я с неопределенным смешком.

— Нет, вы понимаете, что я имею в виду, — сказала она просто. — Он не сумасшедший? Он все это проделывает, потому что ему нравится или его нанимают за деньги?

Это было уж слишком. Я пояснил, быть может, с излишней поспешностью, что перед нею отпрыск старинного кастильского рода; что зрелище, которое она наблюдает, есть мексиканский народный

танец, в котором он принял участие как патриот и покровитель, и что он мой самый лучший друг. И в то же время я отчетливо сознавал, что лучше бы ей не видеть его последней выходки.

— Неужели вы хотите сказать, будто все, что он вытворял, полагается по правилам этого танца? — спросила она. — Не верю. Это просто он сам такой. — И, пока я мялся, не зная, что возразить в ответ на столь неоспоримую истину, продолжала: —Как бы мне хотелось увидеть это еще разок! Он не согласится, как вы думаете?

— Возможно, и согласится, если вы сами попросите, — не без злорадства предложил я.

— Этого, разумеется, я не могу, — спокойно отозвалась она. — Но он, по-моему, и так собирается изобразить нечто подобное. Нет, вы взгляните!

Я посмотрел и, к ужасу своему, увидел, что Энрикес, быть может, под неотразимым впечатлением изящных золотых очков мисс Мэннерсли, снял сюртук и, готовясь опять что-то выкинуть, живописно обматывает вокруг своей талии четыре связанных вместе платка. Я попытался бросить ему исподтишка предостерегающий взгляд, но тщетно.

— Ну, не забавнейший ли, право, чудак? — сказала мисс Мэннерсли, хотя по ее тону ясно

было, что она предвкушает его чудачества не без удовольствия. — Знаете ли, я никогда не видела ничего подобного. Я и не поверила бы, что на свете найдется такое существо.

Даже если бы Энрикес и заметил мои попытки предостеречь его, сомневаюсь, чтобы они возымели хоть малейшее действие. Выхватив у одного из музыкантов гитару и взяв на ней несколько аккордов, он внезапно пошел зигзагами на середину залы, томно покачивая станом в такт музыке и выводя высоким тенором какой-то напев. То была испанская любовная песня. Быть может, языковые познания мисс Мэннерсли не включали в себя знакомство с кастильским наречием, но по жестам и мимике, сопровождавшим исполнение, она не могла не понять, что песня посвящается ей. Страстно уверяя ее, что она благословеннейшая из дочерей святой девы, а очи ее горят, точно свечи в храме, и тут же, единым духом, именуя ее «жестокой погубительницей» за холодность к его «сердечным мукам», трепеща от робости, но подступая все ближе, он швырнул к ее щегольским ботинкам воображаемый плащ, чтобы она ступала по нему, как по ковру, извлек из своей гитары душещипательный стон, с невообразимым заключительным пируэтом пал на

одно колено и, прижав к губам розу, бросил к ее ногам.

Если прежде он не на шутку разозлил меня своими сумасбродными выходками, то сейчас я был готов пожалеть его за то, что в глазах этой девушки он лишь донельзя комическая фигура — и больше ничего. Как танцоры, так и зрители наградили его единодушными и горячими рукоплесканиями; у нее же слегка дрогнули в изумленной полуулыбке тонкие губы — и только. В наступившей вслед за аплодисментами тишине, когда Энрикес, тяжело дыша, уходил с круга, я услышал, как она проговорила словно про себя:

— Нет, просто на редкость диковинное существо!

Не в силах сдержаться, я резко повернулся и возмущенно взглянул ей прямо в глаза. Они были карие, с той специфической бархатистой поволокой, какую встречаешь у близоруких людей, и прочесть по ним, что происходит внутри, было невозможно. Она лишь прибавила вскользь:

— Не правда ли? — И тут же продолжала: — Сделайте милость, сыщите мне Иокасту. Нам, право, пора домой, тем более, что он, как видно, уж больше танцевать не будет. А-а! Вот и она.

Боже великий, дитя! Что это у тебя?

Это была роза Энрикеса; Иокаста подобрала ее и застенчиво протягивала хозяйке.

— Господи, да она мне не нужна! Оставь себе.

Я проводил их к двери: мне что-то не слишком понравился недобрый блеск в черных глазках сеньорит Мануэлы и Пепиты, с любопытством наблюдавших за ней. Впрочем, она, думаю, оставалась к этому столь же равнодушна, как и к подчеркнутым знакам внимания со стороны Энрикеса. Когда мы вышли на улицу, я почувствовал, что должен сказать ей еще что-то напоследок.

— Кстати, — начал я небрежно, — хоть эти бедные люди и веселятся здесь так шумно и у всех на виду, подобное сборище, в сущности, не что иное, как мирный праздник поселян, своего рода национальный обычай, а все эти девушки — честные работящие крестьянки или служанки, которые резвятся себе совсем как в добрые старые времена.

— Разумеется, — рассеянно отозвалась девушка. — Танец, конечно, мавританский; сюда, по-видимому, завезен ранними переселенцами из Андалузии два века назад. Тема — совершенно в арабском духе. У меня есть нечто похожее в ста-

ром сборнике, который я раскопала у букиниста в Бостоне. Только к *нему* это не относится, — вздохнула она, припоминая, с довольным видом, —

О, нет! Уж он-то совершенно ни на что не похож. Это ясно.

Я не без досады отвернулся и направился к Энрикесу, невозмутимо поджидавшему меня у дверей залы с сигарой в зубах и таким невинным видом, точно понятия не имел о недавно проделанных глупостях: я даже замешкался, не решаясь приступить к должным, по моему мнению, увещаниям. Впрочем, он не замедлил положить конец моей нерешительности. Взглянув вслед удаляющимся фигурам обеих женщин, он заявил:

— Эта мисс из Бостона — она возвращается домой. Ты не провожаешь ее? Тогда я провожу. Гляди: одна нога здесь, другая там.

Однако я твердо взял его под руку. Я обратил его внимание на то, что, во — первых, ее уже и так провожает служанка, а во-вторых, если даже я, ее знакомый, не осмелился предложить ей себя в качестве провожатого, то ему, совершенно чужому человеку, едва ли пристало позволять себе подобную вольность; что мисс Мэннерсли

весьма щепетильна в вопросах приличий и он, как джентльмен и кастилец, обязан с этим считаться.

— Но любовь, преклонение — разве этого ей не довольно? — проговорил он, задумчиво пощипывая свои жидкие усики.

— Нет, не довольно, — отрезал я. — А тебе не мешает понять, что она не чета этим твоим Мануэлам и Карменситам.

— Извини, друг мой, — важно возразил он, — но эти женщины, они всегда одинаковы. У нас, испанцев, есть пословица. Слушай: «Пронзит ли толедский клинок атлас или овчину, он отыщет и ранит под ними все то же сердце». Я — или, быть может, ты, мой друг, — и есть тот толедский клинок. А потому последуем же вместе и немедля за этой мисс из Бостона.

Но я продолжал крепко держать Энрикеса за руку и сумел на время укротить его стремительный порыв. Он постоял, усердно дымя сигарой, но через миг вновь рванулся вперед.

— Последуем же за ней хотя бы сзади, в отдалении, как того требует учтивость: мы пройдем мимо. ее дома, мы будем смотреть на него, это тронет ее сердце.

Как ни глупо было сопровождать подобным

образом девушку, с которой я фактически только что расстался, я знал, что Энрикес вполне способен предпринять преследование в одиночку, и рассудил, что лучше будет уступить и пойти с ним вместе; тем не менее я счел необходимым заметить:

— Я должен тебя предупредить: мисс Мэннерсли и так уже воспринимает твои выходки на танцах как нечто дикое и ни с чем не сообразное, так что на твоем месте я не стал бы вытворять ничего такого, что могло бы усугубить это впечатление.

— Ты хочешь сказать, что она шокирована? — серьезно осведомился Энрикес.

Я чувствовал, что, положа руку на сердце, не могу этого утверждать, и мое замешательство не укрылось от него.

— Так, значит, она просто завидует, — с невыносимым самодовольством заключил он. — Ты видишь? Я же говорил. Всегда то же самое.

Я не выдержал.

— Слушай, Гарри, — сказал я, — если уж хочешь знать, она смотрит на тебя, как на акробата, как на платного трюкача.

— А! — Его черные глаза сверкнули. — Тореро, человек, который сражается с быком, он тоже

акробат.

— Да, но она считает тебя клоуном, комедиантом, — ясно?

— Стало быть, я ее рассмешил? — невозмутимо произнес он.

Я не был в этом уверен, но предпочел пожать плечами.

— Прекрасно! — бодро продолжал он. — Любовь, она начинается смехом; она кончается — вздохом.

Я повернулся и взглянул на него при свете луны. Его лицо хранило привычное для испанца важное выражение, настолько важное, что граничило с ироническим. Небольшие черные глаза, как обычно, горели безудержной удалью — удалью молодого, полного жизни животного. Быть не могло, чтобы на него и вправду произвела впечатление заиндевелая бесстрастность мисс Мэннерсли. Мне припомнились его не менее пламенные восторги по адресу некоей мисс Смит, белокурой и розовой красотки с Запада, которые благополучно иссякли без малейшего ущерба для обоих. Мы неторопливо двинулись вперед, и я продолжал уже настойчивее:

— Конечно, у тебя это не более как прихоть, но пойми ты, мисс Мэннерсли думает, что все это

всерьез и ты действительно таков по натуре. — Я запнулся, потому что до меня внезапно дошло, что он и есть такой по натуре. — И в конце концов, черт побери, не хочешь же ты, чтобы она приняла тебя за обыкновенного фигляра, а то и за какого-нибудь пьяного мучачо[2]?

— Пьяного? — с убийственно — томной миной переспросил Энрикес. — Да, вот слово, которое говорит само за себя. Мой друг, ты попал в самую точку, прямо в яблочко, клянусь тебе! Да, это — опьянение, только не от агвардиенте. Слушай! Жил когда-то один мой далекий предок, о котором рассказывают красивую историю. Как-то раз в церкви он видит девушку — обыкновенную крестьяночку; она прошла мимо него в исповедальню. Он взглянул ей в глаза, он покачнулся, — здесь Энрикес для пущей убедительности зашатался, — он упал! — Он и это готов был изобразить наглядно, но я удержал его. — Его отвели домой, и там он сбросил с себя одежды и стал плясать и петь. То было опьянение любовью. И заметь: эта деревенская девушка — в ней не было решительно ничего, даже собой была нехороша. Звали моего предка…

---

[2] Примечания: 2
Слуга *(исп.).*

— Дон Кихот Ламанчский, — злорадно перебил я. — Я так и знал. Ну, будет. Пошли.

— Моего предка, — с достоинством продолжал Энрикес, — звали Антонио Эрменегильдо де Сальватьерра, что вовсе не то же самое. Этого Дон-Кихота, про которого ты говоришь, вообще не было на свете.

— Ну ладно! Только, бога ради, мы подходим к дому, так ты уж не вздумай снова делать из себя посмешище.

Стояла дивная лунная ночь. Широкая, срубленная из секвойи веранда пасторского дома под сенью раскидистого дуба — самого большого в Энсиналь — была одета черненым серебром. Женщины поднялись на веранду, и на двери обозначились их тени. Иокаста вошла в дом, но мисс Мэннерсли на мгновение помедлила и обернулась, чтобы еще раз полюбоваться прелестью ночи. Мы проходили мимо, взгляд ее упал на нас. Мне она кивнула, непринужденно и естественно, но, узнав Энрикеса, задержала на нем свой взор чуть дольше с тем же, что и прежде, холодным и неистребимым любопытством. К ужасу моему, Энрикес немедленно перешел на некий вихляющий аллюр и начал испускать тяжкие вздохи; я свирепо вцепился в его руку и кое-как протащил

мимо дома; в этот момент дверь за молодой девицей наконец-то закрылась.

— Ты не понимаешь, друг Панчо, — серьезно обратился он ко мне. — Эти глаза, заключенные в стекло, подобны espejo ustorio — зажигательным стеклам. Они горят, их пламя пожирает меня, как бумагу. Встанем же под этим деревом. Нет сомнения, что она появится в окне. Мы пошлем ей наш привет и пожелание спокойной ночи.

— Ничего подобного мы не сделаем, — строго возразил я.

Убедившись, что я непоколебим, он позволил себя увести. Я, однако, успел заметить, и с великой радостью, что он показывал на окно, за которым, как мне было известно, находился кабинет самого пастора, и, поскольку спальные комнаты были расположены в задней части дома, эта последняя сцена, возможно, осталась не замеченной как молодой хозяйкой, так и служанкой. И все- таки я не отходил от Энрикеса ни на шаг, пока не привел его благополучно назад в залу, где и оставил за чашкой шоколада в обществе двух его прежних дам, которых он с младенчески — умилительной непосредственностью попеременно обнимал за талию, явно предав мисс Мэннерсли полному забвению.

Танцы обычно происходили по субботам, и на другой день, в воскресенье, я не видал Энрикеса, но, памятуя, что он ревностный католик, смекнул, что с утра он, видимо, посетил мессу, а во второй половине дня — бой быков в Сан-Антонио. Я, однако, был несколько озадачен, когда в понедельник утром на пути через рыночную площадь меня взял за руку не кто иной, как преподобный мистер Мэннерсли, — то был самый фамильярный жест, до которого при своей обычной сдержанности могла снизойти столь значительная духовная особа. Я устремил на него вопрошающий взгляд. Несмотря на безупречную корректность облачения, черты его неизменно поражали своим сходством с общеизвестным в стране карикатурным персонажем по прозванию «дядя Сэм», правда, без присущего тому юмора в выражении лица. Легонько поглаживая свою эспаньолку, он покровительственно начал:

— Вы, насколько я могу судить, более или менее знакомы с характерными свойствами и обычаями здешних испанских поселенцев.

Я похолодел от недоброго предчувствия. Неужели до него дошел слух о выходках Энрикеса? Неужели мисс Мэннерсли безжалостно выдала Энрикеса своему дяде?

— Сам я не уделял должного внимания их языку и особенностям их общественного уклада, — продолжал он, широко взмахнув рукой, — будучи целиком поглощен изучением их религиозных верований и суеверий (у меня мелькнула мысль, что таков, по — видимому, общий недостаток всех людей типа Мэннерсли), но я воздерживался от личного участия в дискуссиях по этому поводу и, напротив того, высказывал достаточно широкие взгляды в связи с замечательной работой их миссионеров, предложив моим собратьям из других протестантских конгрегаций план совместной с ними деятельности, совершенно независимо от различия в доктринах. Эти взгляды я впервые высказал в воскресной проповеди на прошлой неделе, которая, как говорят, привлекла к себе немалое внимание. — Он остановился и деликатно кашлянул. — Я еще не слышал каких-либо отзывов со стороны католического духовенства, но имею основания полагать, что католики в целом не остались равнодушны к моим доводам.

Я вздохнул свободнее, все еще, впрочем, не совсем понимая, с какой стати он заговорил на подобную тему именно со мной. Правда, я слышал о том, что в воскресной проповеди он чем-то задел свою пуританскую паству, но не более того.

Он меж тем продолжал:

— Мне, как я уже заметил, плохо знакомь! специфические черты испано-американского населения. Я предполагаю, однако, что этим людям не чужда импульсивность, свойственная народам латинского происхождения.

Они жестикулируют, не правда ли? Они от природы расположены к пляскам, к пению — верно?

Меня пронизало жуткое подозрение; я только воззрился на него, беспомощно хлопая глазами.

— Я понимаю, — милостиво произнес он. — Я задал, быть может, несколько общий вопрос. Я поясню. Позавчера вечером со мной произошел довольно странный случай. Я вернулся после посещения одного из своих прихожан и сидел один в кабинете, просматривая завтрашнюю проповедь. Вероятно, я заработался допоздна, так как ясно помню, что моя племянница и ее служанка уже по крайней мере час как вернулись домой. Вскоре с улицы до меня донеслись звуки музыкального инструмента и голос певца, исполнявшего или разучивавшего некое стихотворное сочинение, смысл которого, хоть и облеченный в слова незнакомого мне языка, имел, судя по выражению и интонации, определенно хвалебный характер.

Первые минуты, более занятый своей работой, я не обращал на эти звуки особенного внимания, но настойчивость, с которой они повторялись, в конце концов заставила меня подойти к окну, и не из одного только праздного любопытства. Оттуда, стоя в халате и думая, что меня не видно снаружи, я заметил под большим дубом у дороги фигуру молодого человека, по виду, насколько я мог рассмотреть при скудном освещении, испанского происхождения. Однако я, по — видимому, ошибся, сочтя себя невидимым, ибо, как только я приблизился к окну, он быстро выступил вперед и приветствовал меня каскадом совершенно поразительных телодвижений. Признаюсь, я не искусен в толковании языка жестов, хоть изредка и хаживал в дни молодости на постановки греческих трагедий; все же у меня создалось впечатление, что он последовательно изображает различные стадии таких чувств, как благодарность, воодушевление, благоговение и восторг. Он прижимал руки к голове и к сердцу и даже складывал их вот таким образом. — При этих словах почтенный муж, к ужасу моему, повторил несколько самых немыслимых жестов из арсенала Энрикеса.

— Должен сознаться, — продолжал он, — что

я был душевно тронут как этой пантомимой, так и в высшей степени похвальными, истинно христианскими мотивами, которыми был, несомненно, движим ее исполнитель. Наконец я открыл окно. Высунувшись наружу, я сказал ему, что, к сожалению, поздний час не дозволяет мне ответить на столь достойное проявление высоких чувств иначе как искренним, хоть и кратким словом признательности, но что я буду рад, если он завтра зайдет на несколько минут ко мне в ризницу перед службой или под вечер, до начала занятий воскресной школы. Я сказал ему, что поскольку единственной моей целью было создание евангелического братства и осуждение узкого доктринерства, для меня ничто не может быть отраднее такого чистосердечного и безыскусственного подтверждения правильности моих взглядов. Он был как будто глубоко взволнован, в первые мгновения даже, можно сказать, потрясен и вслед за тем грациозно удалился довольно торопливой и слегка подпрыгивающей походкой.

Он помолчал. Внезапная и потрясающая догадка осенила меня: я невольно заглянул ему в лицо. Возможно ли, что раз в кои-то веки Энрикес нашел достойного соперника, сумевшего оце-

нить его тонкую язвительность и ответить той же монетой? Однако ни лукавства, ни затаенной иронии я не прочел на самодовольной физиономии преподобного мистера Мэннерсли. Он говорил всерьез, самоуверенно приняв на свой счет серенаду покинутого Энрикеса, обращенную к его племяннице. Меня разбирал нестерпимый смех, но последующие слова моего собеседника заставили меня сдержаться:

— Утром за завтраком я сообщил об этом происшествии своей племяннице. До нее не донеслось ни звука из этого странного мадригала, но она согласилась, что он, несомненно, внушен желанием выразить мне признательность за усилия, направленные против предрассудков, во благо единоверцев этого юноши. По правде говоря, это она высказала предположение, что вы, как человек, знакомый с обычаями этих людей, могли бы подтвердить правильность моих впечатлений.

Я был ошеломлен. Неужели мисс Мэннерсли, которая, конечно, узнала в этой проделке руку Энрикеса, утаила правду из желания выгородить его? Это так не вязалось с ее отношением к нему, как диковинному и лишь потому любопытному экземпляру человеческой породы! Естественнее было бы ожидать, что она во всех подробностях

расскажет дядюшке о его прежней выходке. Нельзя было усмотреть здесь и желание скрыть от дяди свое посещение танцев: она была слишком независима, да, вероятно, достопочтенный пастор в своем рвении установить более близкие отношения с соплеменниками Энрикеса и не подумал бы возражать. Сбитый с толку, я покорно подтвердил мнение его племянницы, поздравил его со столь очевидным успехом и поспешил откланяться. Но теперь я горел желанием повидаться с Энрикесом и выпытать у него все. При всей его богатой фантазии лживость была ему не свойственна. Я узнал, однако, что его, как на грех, обуяла очередная прихоть — отправиться для участия в родео, ковбойских состязаниях, на предгорное ранчо своего двоюродного брата, чтобы явить там во всем блеске искусство верховой езды, ловя и укрощая одичавший скот, а в промежутках услаждать свою родню несравненным совершенством в умении изъясняться и вести себя на американский лад, а также повадками светского молодого человека. Тогда помыслы мои вновь обратились к мисс Мэннерсли. Правда ли, что серенада Энрикеса в тот вечер так-таки и не долетела до ее слуха? Я решил выяснить, по мере возможности не выдавая Энрикеса. Могло ведь в

конце концов статься, что это был и не он.

Случай благоприятствовал мне. На другой вечер я попал в дом, где в силу своего положения и своих достоинств самой почетной — я едва не написал: самой дорогой — гостьей была мисс Мэннерсли. Я уже упоминал ранее, что юные очаровательницы Энсиналя, как ни льстил им малейший знак ее внимания, как ни восхищали их втайне безупречность ее туалетов и аристократическое спокойствие манер, чувствовали себя при ней в известной мере скованно, подавленные превосходством ее образованности и ума, и не отваживались сойтись с ней короче или поверить ей свои секреты. А кроме того, она вызывала в них жгучую ревность, ибо молодые люди, как правило, ничуть не меньше побаиваясь ее ума и прямодушия, были отнюдь не прочь поволочиться за нею, правда, робко и почтительно, дабы тем самым произвести впечатление на ее менее блистательных подруг.

В этот вечер она была, как обычно, окружена свитой, в которую, разумеется, входили как местные именитые персоны, так и видные заезжие гости. Обсудив с очкастым геологом, если не ошибаюсь, вопрос о том, существуют ли ледники на горе Шаста, она завязала с местным доктором

и ученым — профессором очаровательный по своей откровенности разговор об анатомии, но тут ее попросили к фортепьяно. Исполнение ее отличалось блестящей техникой и замечательной точностью, но ему недоставало тепла и выразительности. Глядя, как она сидит и играет, в своем простом, но безукоризненно сшитом вечернем платье, выпрямив плечи, повернув в профиль точеную, уверенно посаженную голову на стройной, хоть и недлинной шейке, вся воплощение изысканной сдержанности и вызывающей рассудочности, я ясней, чем когда-либо, ощутил, как вопиюще неуместны экстравагантные ухаживания Энрикеса, если они предприняты ради шутки, и как вопиюще безнадежны, если всерьез. Что общего могло быть у лощеной, хладнокровно-наблюдательной, сухой девицы с этим своеобразным и ироничным сорвиголовой, этим романтическим циником, задирой и Дон Кихотом — с этим невозможным Энрикесом? Но вот она кончила играть. Ее ловкий, узкий башмачок все еще лежал на педали, так что видна была стройная лодыжка, изящные пальчики праздно покоились на клавишах, голова чуть откинулась назад, тонкие, приподнятые брови были мило сдвинуты в усилии что-то припомнить.

— Из Шопена что-нибудь, — жарко взмолился геолог.

— Ту прелестную сонату, — подхватил доктор.

— Лучше из Рубинштейна, — вмешался джентльмен из Сискийю. — Слыхал его как-то раз. Рояль этот самый у него ходуном ходил. Сыграйте-ка нам Руба.

Она с лукавой усмешкой, тронутой девичьим кокетством, покачала головой. Внезапно пальцы ее ударили по клавишам, рассыпав в воздухе хрустальную трель, раздались быстрые аккорды стаккато, плавно опустилась левая педаль, и под монотонные бренчащие звуки она стала что-то напевать вполголоса. Я подскочил как ужаленный — и не мудрено: ведь я узнал один из коронных (и самых бравурных) сольных романсов, исполняемых Энрикесом под гитару. Это была вызывающая музыка, варварская музыка, это была — страшно сказать — вульгарная музыка. В романсе, насколько я помнил по исполнению Энрикеса, подробно излагались подвиги некоего дона Франциско, первого на селе волокиты и повесы самого дурного пошиба. Он состоял из ста четырех куплетов, которые Энрикес всякий раз безжалостно заставлял меня выслушивать до конца. Я содрогался, когда благовоспитанная

мисс Мэннерсли своим мелодичным голоском безмятежно щебетала о достоинствах pellejo, иначе говоря, бурдюка с вином, и когда с ее тонких пунцовых уст, лаская слух, лилась хвалебная ода игральным костям. Впрочем, на других гостей это подействовало совсем иначе: непривычный, дикий мотив и еще более дикий аккомпанемент, по — видимому, захватили их; они придвинулись поближе к фортепьяно, кто-то в дальнем углу принялся насвистывать мелодию, даже у геолога и врача посветлели лица.

— Тарантелла, насколько я понимаю? — вкрадчиво осведомился доктор.

Мисс Мэннерсли кончила и непринужденно встала из-за фортепьяно.

— Это народная мавританская песня пятнадцатого века, — сухо отозвалась она.

— А мотив словно бы знакомый, — робко и неуверенно произнес один из молодых людей. — Вроде как если б вы, понимаете, сами того не зная, понимаете… — он слегка покраснел, — где-то подцепили его, так сказать.

— Я, как вы изволили выразиться, «подцепила» его в собрании средневековых рукописей Гарвардской библиотеки и переписала оттуда, — холодно парировала мисс Мэннерсли,

отворачиваясь.

Нет, решил я, от меня ей так легко не отделаться. Выждав немного, я подошел к ней.

— Ваш дядюшка оказал мне честь, спросив совета о том, как следует толковать появление возле его дома некоего темпераментного испанца. — Я посмотрел в ее карие глаза, но мой взгляд тщетно скользнул по этим непроницаемым бархатистым зрачкам. Чтобы получше разглядеть меня, она надела пенсне.

— Ах, это вы? — небрежно сказала она. — Здравствуйте. Ну и что же, смогли вы ему что-нибудь сообщить?

— Только самые общие сведения, — ответил я, все еще глядя ей прямо в глаза. — Эти люди импульсивны. Испанская кровь — сплав золота и ртути.

Она едва заметно улыбнулась.

— Это напоминает мне о вашем неуемном приятеле. Вот уж кто, действительно, живой, как ртуть. Что он, все пляшет?

— Нет, он еще и поет время от времени, — многозначительно возразил я.

Но она лишь уронила свысока: «Поразительное существо», — и как ни в чем не бывало отошла, оставив меня в прежнем неведении. Я понял,

что только Энрикес может рассеять мои сомнения. Мне во что бы то ни стало нужно было его увидеть.

Что ж, я его и увидел, только не так, как предполагал. На той же неделе в Сан — Антонио происходил бой быков — не в воскресенье, как полагалось бы, а в субботу днем, из уважения к обычаям американских протестантов.

В качестве дополнительной приманки публике был предложен бой быка с медведем — тоже уступка вкусам американцев, которые объявили, что бой быков — «тоска зеленая» и что быку не дают как следует развернуться. Я рад, что могу избавить читателя от обычных реалистических кошмаров, ибо в калифорнийском варианте мало что сохранилось от той жестокости, которой отличается это зрелище на своей родине. Вместо заезженных, понурых кляч в нем принимали участие молодые, горячие мустанги, а искусство верховой езды, демонстрируемое пикадорами, было не только замечательно само по себе, но и обеспечивало почти полную безопасность как коню, так и всаднику. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы лошадь встретила смерть от рогов быка, и хоть случалось порой, что, сделав крутой поворот, чтобы увернуться от быка, неумелый

всадник вылетал из седла, он, как правило, вновь садился на коня целым и невредимым.

Путь на Пласа-дель-Торос шел по запустелой, мощенной черепицей окраине старой испанской деревушки. Там высилось грубое овальное сооружение в виде амфитеатра с растрескавшимися белеными стенами и трибунами, крытыми лишь частично — над скамьями, отведенными для местной «знати», где сейчас расположились лавочники со своими женами, а среди них — несколько заезжих американцев и владельцев ранчо. Резкие порывы послеполуденного пассата вздымали с арены в воздух мельчайшую глинистую пыль, но вместе с тем, к счастью, хоть немного рассеивали густой запах чеснока и едкие клубы табачного дыма от дешевых маисовых сигар. Я облокотился на перила второго яруса, ожидая появления жиденькой и яркой, точно в цирке, процессии с ключами от загона, где находились быки, — и тут внимание мое привлекло какое-то движение на балконе для избранных. Среди шатких скамеек в первый ряд пробирались дама и господин, очевидно, незнакомые прочей публике. С некоторым удивлением я узнал геолога и с еще большим — его даму. Это была мисс Мэннерсли в ладном, отлично сшитом

уличном костюме, который резко выделялся своими сдержанными тонами на фоне пестро разодетой толпы.

Впрочем, я, возможно, был менее ошеломлен, чем другие зрители, ибо не только начинал уже привыкать к причудам этой молодой особы точно так же, как привык к выходкам Энрикеса, но и был убежден, что ее дядюшка вполне мог разрешить ей прийти — как в ответ на любезность устроителей, заменивших воскресное представление субботним, так и для того, чтобы снискать этим расположение своих предполагаемых друзей — католиков. Я наблюдал за нею, пока не был выпущен — и после сравнительно недолгой возни с пикадорами и бандерильеро прикончен — первый бык. В тот момент, когда к быку приблизился матадор со своим смертоносным оружием, я без всякого сожаления воспользовался предлогом отвернуться и взглянул на мисс Мэннерсли. Руки ее лежали на коленях, голова чуть склонилась над ними. Я решил, что и она опустила глаза, чтобы не видеть жестокой сцены, но, к ужасу своему, обнаружил, что она держит в руке альбом для рисования и просто-напросто делает наброски! Я предпочел перевести взгляд на умирающего быка.

Второй бык, который был выведен для хитроумной расправы, оказался, однако, более строптивого нрава. Неприязненным, подозрительным оком косился он на эту комедию честного поединка, отказываясь принять вызов юрких обидчиков — пикадоров. Он ощетинился бандерильями, как дикобраз, но не трогался с места, прижавшись задом к барьеру, по временам почти целиком скрытый от взоров клубами тонкой пыли, поднятой мерными ударами его злобно бьющего в землю копыта — единственного, в чем выражался его тупой, угрюмый протест. Смутное беспокойство передалось его противникам, пикадоры держались поодаль, бандерильеро метали свое оружие с безопасного расстояния. Зрителей же возмущала лишь нерешительность быка. Ему швыряли оскорбительные прозвища, раздавались выкрики «Espada»[1] и вот уже, согнув локоть под коротким плащом, сжимая в руке свой сверкающий клинок, вышел вперед матадор — и остановился. Бык не двинулся с места.

Ибо в этот самый миг на арену налетел особенно сильный порыв ветра и, взвихрив облако удушливой пыли, пошел гулять по нижним рядам,

---

[1] Примечания: 1
Шпага (исп.).

по балкону, так что представление на какие-то секунды приостановилось. До меня донеслось восклицание вскочившего с места геолога. Мне почудилось даже, что я слышу негромкий возглас самой мисс Мэннерсли, а в следующее мгновение, когда пыль стала понемногу оседать, мы увидели, что в воздухе, то падая, то вновь взмывая, трепыхаясь из стороны в сторону на неверных крыльях, порхает листок бумаги, подхваченный этим мимолетным циклоном, и, наконец, неторопливо ложится на самую середину арены. Это был лист из альбома мисс Мэннерсли, тот самый, на котором она рисовала.

В наступившем затишье он и оказался тем единственным предметом, которому удалось наконец возбудить в быке пусть запоздалый, но все возрастающий гнев. Бык вперил в него пасмурный, расширенный зрачок, всхрапывая в глухой и тревожной ярости. То ли он распознал в наброске мисс Мэннерсли собственное изображение, то ли принял белый листок за новую предательскую ловушку — я не знаю, но в следующий миг, воспользовавшись тем, что внимание быка отвлечено, матадор, самодовольно ухмыляясь публике, шагнул вперед.

В ту же секунду какой-то молодой человек

одним махом перелетел через барьер на арену, оттолкнул в сторону матадора, поднял рисунок, с извиняющимся жестом повернулся к балкону, где сидела мисс Мэннерсли, а потом весело отвесил быку поклон, с шутовским смирением опустился перед ним на колени и подставил ему рисунок, словно для того, чтобы тот мог лучше его рассмотреть. У публики вырвался рев восторга, у служителей — крик предостережения и досады, потому что доведенный до исступления бык внезапно ринулся прямо на незнакомца. Тот, однако, с изумительным проворством отскочил в сторону, сделал учтивый жест в сторону матадора, как бы передавая быка в его руки, и, по-прежнему держа листок из альбома, перепрыгнул через барьер и благополучно присоединился к публике. Я отвернулся, чтобы не видеть, как матадор встретит атакующего быка одним мощным, смертоносным ударом, и проводил глазами молодого человека, который легко взбежал по ступеням на балкон, с преувеличенно — церемонным поклоном положил рисунок на колени мисс Мэннерсли и скрылся. Мне ли было не узнать эту тонкую, гибкую фигуру, эту ниточку черных усов, эти серьезные глаза, в глубине которых плясали чертенята! Дерзость замысла, вычурность испол-

нения, своеобразная ирония финала — все это не могло принадлежать никому, кроме Энрикеса.

В этот момент шестерка мулов в парной упряжке потащила с арены мертвую тушу быка, и я поспешил к мисс Мэннерсли. Она неторопливо складывала свой альбом, служа бесстрастной мишенью сотне жадных и любопытных глаз. При виде меня она слегка улыбнулась.

— Я как раз рассказывала мистеру Бригсу о том, какое поразительное существо ваш знакомый. У него, по — видимому, немалый опыт по этой части, раз он смог все проделать так умело и бесстрашно. Он часто исполняет этот номер? Не именно этот, разумеется, а скажем, — сигары и прочие мелочи, которые, как я вижу, здесь бросают матадору, — их он тоже подбирает? Он что, служит при этом заведении? Мистер Бриге, — добавила она, метнув лукавый взгляд на геолога, который, как мне показалось, чувствовал себя неважно, — считает, что это все подстроено нарочно, чтобы отвлечь внимание быка.

— Боюсь, — сухо ответил я, — что его поступок столь же непреднамерен и непосредствен, сколь и исключителен.

— Отчего — «боюсь»?

Вопрос был задан как бы между прочим, но я

мгновенно понял свою ошибку. Какое право я имел делать вывод, будто ухаживания Энрикеса нечто более серьезное, чем небрежное безразличие мисс Мэннерсли? А если я и заподозрил, что это так, честно ли с моей стороны выдавать друга этой бессердечной кокетке?

— Вы не очень-то любезны, — посмеиваясь, заметила она, пока я стоял в нерешительности, и, прежде чем я нашелся, что ответить, повернулась и пошла к выходу вместе со своим спутником. Ничего, зато теперь по крайней мере можно было повидаться с Энрикесом и хоть чего-то добиться от него. Я знал, где его найти, если только, конечно, он не остался здесь поблизости, замышляя еще какую-нибудь выходку. Я подождал, пока не убедился, что мисс Мэннерсли и Бриге удалились беспрепятственно.

Асьенда Рамона Сальтильо, двоюродного брата Энрикеса, находилась на окраине деревушки. Когда я прибыл туда, пегий мустанг Энрикеса, весь взмыленный, был уже в корале, а самого Энрикеса я, к своему удивлению (правда, слуги что-то завозились, открывая мне ворота), нашел во внутреннем дворике, где он лежал, развалясь в гамаке, бессильно свесив руки, словно в полнейшем изнеможении. А между тем что-то

подсказывало мне, что мошенник забрался в гамак, лишь услышав, что я пришел.

— Ты явился вовремя, друг Панчо, — нарочито расслабленным тоном начал он. — Я совершенно без сил. Я уничтожен, погублен, разделан под орех. Я тебя видел, мой друг, у барьера, но не заговорил, не подал знака: вначале — оттого, что был весь в огне, в конце — оттого, что был обессилен.

— Понятно. Задал же бык тебе жару!

Он так и взвился.

— Бык? Карамба! Да мне и тысяча быков нипочем! А уж этот, если хочешь знать, был просто трус. Я плюю ему прямо на рог, я сворачиваю сигару у него под носом.

— Ну хорошо, тогда что же?

Он моментально улегся обратно, с головой уйдя в глубь гамака. Вслед за этим из сетчатых недр раздался его голос, глухо взывающий к небесам:

— И он еще спрашивает, этот друг моего сердца, этот брат моей жизни, этот Панчо, которого я так люблю, — он спрашивает: «Что»! Он желает, чтобы я поведал ему, отчего меня не держат ноги, не слушается рука, отчего срывается мой голос, отчего я, короче говоря, повержен в прах! А ведь он знает, этот Франциско, мой закадычный приятель, знает, что я видел мисс из Бостона! Что я

смотрел в ее глаза, дотронулся до ее руки и на мгновение обладал картиной, написанной этой рукой! То была дивная картина, Панчо, — сказал он, внезапно снова садясь, — она сразила быка еще до того, как шпага нашего друга Пепе успела хотя бы коснуться его шеи и прикончить его.

— Слушай, Энрикес, — без обиняков спросил я, — ты все-таки пел серенаду этой девице?

Он пожал плечами без тени смущения.

— Ну да. Что поделаешь? Надо.

— Ах, так! — отозвался я. — Тогда знай, что ее дядюшка принял ее целиком на свой счет, а тебя принял за благодарного католика, тронутого его религиозной терпимостью.

Энрикес даже не улыбнулся.

— Bueno, — проговорил он важно. — Это уже кое-что. В таких делах всегда хорошо начинать с дуэньи. Он и есть дуэнья.

— А кроме того, — не унимался я, — ее спутник только что сообщил ей, что твой подвиг на арене не более как трюк, подстроенный администрацией специально, чтобы отвлечь внимание быка.

— Ба! Ее спутник — геолог. Естественно, она для него все равно, что камень.

Я хотел было продолжать, но в эту минуту нас прервал пеон, подавший какой-то знак Энрикесу;

тот упругим движением соскочил с гамака, попросив меня обождать, пока он скажет два слова посыльному у ворот.

Так и не добившись ясности, я стал ждать, опустившись в гамак, с которого встал Энрикес.

В одной из ячеек застрял клочок бумаги, на первый взгляд такой же, как та, из которой Энрикес скручивал свои сигары. Однако, взяв его в руки, чтобы выбросить, я обнаружил, что бумага куда плотней и толще. Присмотревшись внимательнее, я с удивлением узнал обрывок тоновой бумаги, вырванной из рисовального блокнота мисс Мэннерсли. По нему крест — накрест проходили две глубокие бороздки, как будто он был сложен вчетверо; можно было подумать, что это половина листа, в которую была завернута записка.

Это обстоятельство, возможно, пустячное, необычайно разожгло мое любопытство. Я знал, что Энрикес возвратил рисунок мисс Мэннерсли, — я сам видел его у нее в руке. Может быть, она подарила ему другой? Но если так, зачем было складывать его вчетверо и портить рисунок? А быть может, это обертка от записки, которую он уничтожил? Моим первым побуждением было сейчас же отнести свою находку к воротам и воз-

вратить Энрикесу. Так я и сделал. Он стоял тотчас за оградой, разговаривая с какой-то девушкой. Я вздрогнул: эта была Иокаста, горничная мисс Мэннерсли.

С этим новым открытием ко мне пришло то чувство неловкости и раздражения, которое рождает в нас неразумная обида на друга, если он не посвящает нас в свои секреты, пусть даже такие, которые касаются лишь его одного. Напрасно было урезонивать себя, что все это не мое дело, и он прав, не разглашая тайну, в которой замешан кто-то третий, тем более — женщина! Боюсь, что меня еще пуще разбирала мелочная досада из-за того, что это открытие не оставляло камня на камне от моей теории о том, как толковать его поступки и отношение к нему мисс Мэннерсли. Я дошел до ворот, торопливо распрощался с Энрикесом, сославшись на то, что неожиданно вспомнил о другой встрече, назначенной на этот час, и не подавая вида, что узнал девушку, которая отошла в сторону, как вдруг, к еще большему моему замешательству, этот плут, просительно подмигнув, остановил меня и, обняв обеими руками за шею, хрипло зашептал прямо в ухо:

— Ах! Ты видишь, ты все понимаешь, но ты сама деликатность! — и с этими словами вернулся

к Иокасте.

Означало ли это, что он получил записку от мисс Мэннерсли или пытается склонить горничную к тому, чтобы она отнесла его послание своей хозяйке, осталось неясным. Он был способен и на то и на другое.

Две или три недели после этого мы с ним виделись часто, но, решив испытать, что будет, если я вообще перестану упоминать мисс Мэннерсли в разговоре, я не узнал почти ничего нового об их отношениях, да и Энрикес, как ни странно, разок-другой заговорив о ней в характерном для него вычурном тоне, тоже не касался более этого предмета. Только раз, прощаясь со мной как-то днем, он небрежно прибавил:

— Мой друг, сегодня вечером ты посетишь дом Мэннерсли. Меня также почтили приглашением. Но ты станешь моим Меркурием — моим Лепорелло, — ты передашь от меня мисс Бостон весть о том, что я сокрушен, удручен, уничтожен и сбит с панталыку — что я не могу явиться, ибо в этот же самый вечер вынужден сидеть у постели внучатой тетки моего шурина, которая смертельно больна ангиной. Так печально.

Это был первый намек на то, что мисс Мэннерсли делает ему какие-то авансы.

Поразил меня и отказ Энрикеса.

— Вздор! — трезво ответил я. — Можешь прийти, ничто тебя не держит.

— Мой друг, — молвил Энрикес, внезапно впадая в томную расслабленность и сникая, как немощный старец, — меня удерживает решительно все. У меня не так уж много сил. Под взглядом мисс Бостон колени мои будут подкашиваться, меня охватит дрожь. Я брошусь на геолога и схвачу его за горло. Дай мне задачу полегче.

Он уперся, как баран, и не пошел. Зато отправился я. Я застал мисс Мэннерсли прелестно одетой, на редкость оживленной и хорошенькой. Куда как приятно было бы встретить лучистый взгляд, которым окинули меня ее загадочные глаза, если бы не укоры совести из-за Энрикеса. Как можно более естественно я передал ей его извинения. Она на миг окаменела и словно стала на дюйм выше ростом.

— Какая жалость, — произнесла она наконец ровным тоном. — Я думала, он нас так позабавит. И даже надеялась попробовать с ним вместе один старинный мавританский танец, который нашла и стала разучивать сама.

— Я уверен, он был бы в восторге. Очень жаль, что он не пришел со мной, — быстро ответил я и

не мог удержаться, чтобы не добавить, особо выделив ее излюбленное выражение: —Но ведь вы сами знаете, это такое поразительное существо.

— Не вижу ничего поразительного в том, что он так хорошо относится к престарелой родственнице, — отворачиваясь от меня, спокойно возразила мисс Мэннерсли. — Это лишний раз подтверждает, что я права, уважая в нем человека с характером.

Не знаю отчего, но только я не рассказал этого Энрикесу. Может быть, я уже простился со всякой надеждой их понять, а может быть, начинал догадываться, что он и сам сумеет позаботиться о себе. Как бы то ни было, но через несколько дней он слегка озадачил меня, когда, позвав с собой на родео к своему дядюшке, невозмутимо добавил:

— Кстати, и мисс Бостон увидишь.

Я только глаза раскрыл: если бы не этот спокойный тон, я принял бы его сообщение за очередное чудачество. Ведь родео — ежегодная охота за диким скотом с целью заарканить и поставить клеймо — достаточно жестокое зрелище, дело чисто мужское и к тому же семейное: смотр имущества крупных скотоводов — испанцев, и чужакам, в особенности американского происхождения, нелегко получить доступ на таинства

родео и завершающий его праздник.

— Но откуда у нее приглашение? — спросил я. — Не посмел же ты позвать…

— Мой друг, — как никогда веско произнес Энрикес, — славная, высокочтимая мисс Бостон собственной персоной, а также ее достопочтенный, преподобный дяденька и прочие высокие персоны из Бостона воистину оказали мне неописуемую честь, испросив для нее у такого маленького человека и к тому же паписта, как мой дядя, разрешения приехать, дабы она могла своим просвещенным оком наблюдать варварские обычаи моего народа.

Его тон и манера были столь необычны, что я тут же загородил ему дорогу, положил ему руки на плечи и посмотрел прямо в лицо. В его взгляде заплясали бесенята, но тотчас спрятались, и мой друг, в картинной истоме, вновь опустился на стул.

— Я буду там, друг Панчо, — молвил он, чувствительно вздыхая. — Моя рука не дрогнет, набрасывая лассо на быка, чтобы повергнуть его к ее стопам. На этом же священном месте я подниму на дыбы дикого мустанга. Я на полном скаку вырву из земли зарытого туда петушка и поднесу ей. Ты увидишь, друг Панчо. Я там буду.

Он сдержал слово. Когда его дядя дон Педро Амадор с истинно испанской галантностью водворил мисс Мэннерсли на высокий помост, сооруженный в обширной долине, где происходили состязания, доблестный Энрикес выбрал в перепуганном, скачущем во весь опор стаде одного быка и, умело отделив его от остальных, захлестнул лассо вокруг его задних ног и повалил прямо перед помостом, где сидела мисс Мэннерсли. Не кто иной, как Энрикес, изловил необъезженного мустанга, перескочил со своего коня на его неоседланную спину и, пользуясь одним только лассо как уздечкой, поднял напружившегося мустанга на дыбы у ног мисс Мэннерсли. Не кто иной, как Энрикес, во время последовавших за этим состязаний на всем скаку перегнулся с седла, подхватил зарытого по голову в песок петушка, даже не свернув ему шеи, и швырнул своей даме трепещущую птицу целой и невредимой. Что же касается мисс Мэннерсли — на лице ее снова играло то оживление, которое я заметил во время нашей последней встречи. Правда, она не взяла с собою альбом для рисования, как на бой быков, но, когда прямо у нее на глазах клеймили скот, она смотрела не дрогнув.

А между тем я ни разу не видел, чтобы она

и Энрикес были вместе; не знаю наверное, но, по-моему, они ни разу не перемолвились хотя бы словом. Вот и теперь, хоть она была гостьей его дяди, он из-за своих обязанностей вынужден был находиться на поле действий, вдали от нее. Более того: насколько я мог судить, ни он, ни она, кажется, не предпринимали никаких попыток к тому, чтобы изменить положение вещей. Никому, кроме меня, это своеобразное обстоятельство не бросилось в глаза. Если бы я не знал, — вернее, не думал, что знаю, — правду об их отношениях, я решил бы, что они незнакомы.

Впрочем, я не сомневался, что празднество, которое должно было состояться на широком дворе усадьбы дона Педро, сведем их ближе. Позже, вечером, когда мы все сидели на веранде и смотрели, как танцуют мексиканки, мерно покачивая юбками в белых оборках под меланхолические звуки двух арф, мисс Мэннерсли вышла из дома и присоединилась к нам. Казалось, зрелище захватило ее целиком и она вся ушла в созерцание этих варварских плясок; она сидела почти недвижно, опершись на перила и подперев щеку ладонью. Внезапно, с легким возгласом, она привстала.

— Что случилось? — раздались голоса.

— Ничего, просто я потеряла свой веер. — Она

уже поднялась и стояла, рассеянно глядя себе под ноги.

Человек шесть мужчин вскочили с мест и вызвались принести его.

— Нет, спасибо. Я, кажется, знаю, где я его оставила, и схожу сама.

Она пошла было с веранды, но тут со всей испанской церемонностью вмешался дон Педро. В его доме такое — вещь неслыханная. Если сеньорита не хочет пустить за веером его, старого человека, значит, потерянную вещь должен принести ее сегодняшний кавалер, Энрикес.

Энрикеса, однако, нигде не было видно. Я взглянул на чуть встревоженное лицо мисс Мэннерсли и попросил, чтобы она разрешила сходить за веером мне. Она как будто даже порозовела от облегчения.

— На каменной скамье, в саду, — сказала она, понизив голос.

Я поспешил прочь, хотя дон Педро все еще протестовал. Сад я знал хорошо, знал и угловую каменную скамью у ограды, шагах в десяти, не более, от дома. Скамейка была залита лунным светом. Да, маленький серый веер из птичьих перышек действительно был здесь. Но бок о бок с ним лежало еще кое-что: смятая, черная, шитая

золотом перчатка для верховой езды, одна из тех, в которых Энрикес был на родео.

Я торопливо сунул ее в карман и побежал обратно. Поравнявшись с воротами, я попросил пеона послать Энрикеса ко мне. Пеон уставился на меня с удивлением. Разве мне не известно, что дон Энрикес минуты две как уехал?

Вернувшись на веранду, я молча подал веер мисс Мэннерсли.

— Bueno, — серьезно одобрил дон Педро. — Все к лучшему. Никаких раздоров из-за того, кому досталось принести веер, не будет, потому что Энрикесу, как мне сказали, пришлось немедленно вернуться в Энсиналь.

Мисс Мэннерсли рано удалилась в свои покои. Я не сказал ей о моей находке, не стал искать способа проникнуть в ее тайну. Несомненно, у них с Энрикесом было свидание и, возможно, не первое. Но чем оно кончилось? По поведению девушки и поспешному отъезду Энрикеса я мог предположить только наихудший для него исход. То ли он не удержался, позволил себе какую-то новую вольность и получил суровую отповедь, то ли признался, что за его дурашливой личиной скрывается подлинное чувство, и был хладнокровно отвергнут? Полночи я беспокой-

но ворочался с боку на бок, даже во сне следуя за моим бедным другом, которого все дальше уносил резвый конь, и то и дело просыпаясь от чудившегося мне бешеного топота копыт.

Я встал чуть свет и побрел на дворик, но оказалось, что меня опередили: здесь уже собрались члены семейства дона Педро и, сбившись в тесную кучку, что-то возбужденно обсуждали; мне показалось, что при моем приближении они отвернулись, пряча неловкость и замешательство. Во всем ощущалась смутная тревога. Меня, точно утренний холодок, внезапно охватил непонятный страх. Вдруг с Энрикесом что-нибудь случилось? Глядя на его чудачества, я все время думал, что он по обыкновению просто забавляется. Неужели, уязвленный отказом, он осуществил свою нелепую угрозу исчезнуть? Если так, мисс Мэннерсли должна, несомненно, знать или хотя бы догадываться о чем-то.

Я подошел к одной из служанок и спросил, встала ли сеньорита. Мексиканка вздрогнула, украдкой оглянулась по сторонам и только после этого ответила. Разве дон Панчо не знает, что на постелях мисс Мэннерсли и ее горничной сегодня никто не ночевал, а сами они пропали неизвестно куда?

На мгновение меня пронизало ужасающее чувство ответственности за эту внезапно нешуточную ситуацию. Я поспешил вслед за удаляющейся семейной группой. Однако при входе в галерею меня тронул за плечо мексиканец — вакеро. Он, видимо, только что спешился и был весь покрыт дорожной пылью. Он подал мне записку, написанную карандашом на листке из рисовального альбома мисс Мэннерсли. Наверху стояло мое имя, а ниже следовало самое экстравагантное из всех посланий, написанных рукой Энрикеса:

«Друг Панчо! Когда ты начнешь читать эти строки, ты, вероятно, будешь думать, что меня более нет. Вот тут-то ты и дашь маху, мой маленький брат! Я не только есть — меня стало вдвое больше, ибо я обвенчался с мисс Бостон. В Миссионерской церкви, ровно в пять утра! Письменных поздравлений не надо! Целую ручки моего преподобного дядюшки со стороны жены. Ты передашь ему, что мы умчались в дебри Юга к язычникам в качестве двуединого миссионера — евангелиста! Это выражение принадлежит самой мисс Бостон. Ну, пока! Как твои делишки? Твой

до гроба
Энрикес».